

Убывает отряд словоохотливых воспоминателей Великой Отечественной войны, и убывает он не только по естественно-возрастным причинам. Нет, что там! Убывает у ветеранов желание рассказывать о войне, которая на рубеже веков стала историческим явлением и согласно законам перспективы всё более и более ужимается по мере временного отдаления и потому всё менее и менее различимая податливыми, чего изволите-с, историками, что вот-вот превратят центральное, всемирного масштаба событие середины XX века в невнятную точку, отмечаемую на историческом полотне России кратким, как выстрел, словом — «была». Не находится места и подвигу великого русского солдата, вбившего, казалось навечно, осиновый кол в могилу фашизма. Однако для них, ветеранов, война — никакая не история, она — их жизнь, подённо, в мельчайших подробностях распределённая по заветным сундучкам памяти. Правда, ключи от некоторых сундучков намеренно упрятаны подальше, а от иных и вовсе выброшены в бездонность эпохи.

Каждый солдат таит свою, самую трудную, неповторимую, самую трагическую и огромную войну, вмещающую в себя замыслы военачальников и сжатые фронтовые сводки. Попытался я разговорить одного известного в мире радиотехников профессора. Загадочно поулыбавшись, с тяжёлой грустью заглянул он в одну ему известную даль и неожиданно посыпал анекдотическими случаями из своей военной жизни, беспорядочно выхватывая их из всего, от первого до последнего дня, пространства от Сталинграда до Берлина. То — как из Польши ехал со своим ординарцем в отпуск и отдал ему на строительство дома целый чемодан денег,



Анатолий Захариевич  
Давыдов

Красной Армии не нужна. Мой подход к его жене, известному академику-языковеду, а в прошлом телефонистке в батальоне связи, которым командовал будущий профессор, тоже оказался безуспешным. И профессор, и академик заявили, что война для них ещё не закончена, что не остыли они от неё и не могут остыть. «Остынем — понесут наши о с т ы н к и...». Война же для них закончится, когда доведут до народа всю о ней правду...

Однако разговорился-таки художник Анатолий Захариевич Давыдов<sup>2</sup>, с которым, несмотря на значительный возрастной разбег, связывает меня без малого двадцатилетнее дружество.

— Войну я не люблю и вспоминать о ней не хочу. Возникает она, когда бывает мне плохо, когда наваливается бессонница. Невольно в такие муторные часы, а иногда — дни, разворачивается обычно туго скрученная в трубку картина всего оставшегося позади нынешних лет. Я ненавижу войну всеми фибрами души своей и ни одной картинке не посвятил этой вакханалии убийства. Но коли ты пришёл с таким коварным вопросом...

Постепенно, словно неохотно набирая обороты, то убегая вперёд, то возвращаясь назад, связывал он едва уловимой нитью военные дни. Длинные паузы заполнялись неторопливым отхлёбыванием из стопки, которую я услужливо наполнял по его молчаливому, одним указательным пальцем, повелению:

---

<sup>2</sup> Давыдов Анатолий Захариевич (5.10.1923–11.06.2009) — российский советский график и живописец, Заслуженный художник Российской Федерации, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — ЛОСХ РСФСР).

— Совнаркомовскую-то употребить надо, — хитро пояснял художник глуховато-уважительным замечанием.

Мало-помалу, с уточнениями и подсказками, монолог пошёл ровнее, находились ключики, открывались нужные сундучки. Порой открывание сопровождалось тяжёлым вздохом и невольным увлажнением глаз. Повествование художника по устранению сбивчивости и некоторых, как выяснилось позже, чисто технических неточностей в не слишком вольном изложении с обращением к прямой речи рассказчика выглядит так.

### **Бордовое солнце блокады**

Колесница жаркого лета стремительно домчала войну к городу. Обучение в средней художественной школе получило новый уклон: объяснялось, что в уличных боях молочная бутылка с зажигательной смесью — грознейшее противотанковое оружие, что строевая подготовка в академическом саду — важнейшая составляющая выучки юных художников для рытья противотанковых рвов под Гатчиной, куда посылали всех, кто имел непосредственное отношение к Академии художеств. Однако новые учителя по незнанию или по боязни, а скорее по тому и другому вместе, умалчивали о скудной вооружённости войск, когда на троих красноармейцев приходилась одна винтовка при явном недостатке патронов, о чём шепнул Анатолию старший брат на скоротечном, оказавшемся последним, в четверть часа свидании во время однодневной — за пополнением — командировки из-под Невской Дубровки.

Как-то по Академии разнёсся слух: обстрелена площадь Труда, а это совсем рядышком: выйти из главного входа и перебежать мост Лейтенанта Шмидта... На остановке, что неподалёку от Морского экипажа, напротив изуродованной дворцовой решётки, сквозь тонкий слой свежего песка просачивалось большое тёмно-красное пятно — кровь первых жертв артиллерийского обстрела, предвестников величайшей, какой не знал доселе мир, трагедии...

Занятия в школе шли на убыль: в пальто и шапках сидели угрюмо сосредоточенные энтузиасты, а вскоре расползлись и те. Обезлюдившие академические коридоры и классы дышали заиндеветыми стенами, отчего внутри здания не покидало ощущение вечной мерзлоты. Первые этажи Академии и египетские сфинксы на Неве погрузились в деревянные обшивки. Изморозь на домах и могучие, непривычно белые сугробы больно сверкали под студёным бордовым блокадным солнцем. В школу Анатолий ходил только за обедами, где в ожидании тарелки дрожжевого супа, ложки

гороховой размазни и 125-граммового кусочка хлеба толпились с кастрюльками, чайниками, бидонами, кружками и банками вечно голодные профессора, служащие, натурщицы, студенты. Бабы платки, пелерины, шарфы и башлыки, наконец, просто махровые полотенца, оставлявшие разве щёлки для глаз, до неузнаваемости изменили облик известных профессоров и преподавателей.

Внешний вид Давыдова тоже был под стать обстоятельствам: будённовка, армейский до пят — по причине малого роста — полубубок, стоптанные валенки, трёхпалые рукавицы и солдатская манерка за поясом оберегали живую душу юноши. Половинка хлебной пайки и гороховая размазня съедались тут же, а суп в манерке отправлялся домой. По пути Анатолий заглядывал на Андреевский рынок, где мёрзлая картофелина шла за коробок спичек, спички за десяток папирос, папиросы за полфунта хлеба, хлебная пайка — за пяток ржавых килек на тарелку «духовитой» ухи. Это был центр обнищания и обогащения: одни ради выживания несли сюда добро, накопленное поколениями, другие — воры и спекулянты — безжалостно обменивали его на убогий корм (не хочешь — не бери!) и обогащались не на одну жизнь вперёд: кому — война, кому — мать родна... Здесь суть человека раскрылась в полном своём откровении. Откуда ни возмись, явилось всяческое с катастрофически малым словарным запасом жульё, с наплевательским высокомерием, плохо говорившее по-русски; оно, это жульё, обычно «образованием не имело» и прямолинейной мерзостью своей до невыносимости терзало «недорезанных антилягентов» и с язвительным хамством ростовщика из бывших рабов прибирало к лапам у беззащитно оголённого горя лучшую мебель, картины, старинный фарфор...

Да вот хотя бы дворничиха Евдокия, попросту Дунька, которая жила на одной лестнице с Давыдовыми. В пристально-хитрые щёлочки глаз её, словно в прорези тайной копилки, попадало всё, чему радовались и чем бедовали жильцы, что и объясняло удивительную осведомлённость участкового.

— Толькя-а! — высовывалась она из своей двери, — твои-то, чай, живы? Ай померли?

Дунька с недавних пор блистала кольцами и грузным литым запястьем.

— Эта всё за чижолые мои услуги: схоронить кого людям добрым... могилку спроворить... другое чиво схлопотать... без омману. Евдокия делат, без омману... труды всё, труды, — и, тяжело вздыхав, важно затворяла дверь.

На рынок Анатолий приходил не с пустыми руками: несколько папирос, купленная впрок ещё до войны горчица, обломки столярного клея на студень позволяли принести домой пару картофелин и кусочек пиленого сахара в дополнение к схваченному ледком дрожжевому супу, манерку с которым мать прятала к себе под пальто и теплом своим отогревала содержимое до съедобного состояния. Вместе с Академией художеств готовилась к эвакуации в Среднюю Азию. Семнадцатилетний допризывник побрёл сниматься с воинского учёта.

— Раздевайсь! — приказал облачённый в белый халат военный, предполагая наличие под большим полушубком добра молодца.

В обширной тёплой комнате легко было освободиться от многочисленных одежек. Собственное отражение поразило Анатолия — он давно не видел себя в зеркале, а тут: тщедушный слепок с удерживаемого памятью некогда крепкого пацана смотрел на него из Зазеркалья безжизненным взором впалых глаз.

— Н-н-да-а... одни глаза... — военврач не слушал бодрый о прибытии для прохождения медицинской комиссии. Он дотронулся до ключиц, пощупал живот и бросил в стороны медсестры ставшее привычным: — Крайняя дистрофия.

Финляндский вокзал был местом сбора эвакуируемых. Мать проводила Анатолия до дверей:

— Прощай, сынок, — она поцеловала его. — Свидимся ли?.. Дойдёшь ли?..

Анатолий молча кивнул, постоял немного и поволок через весь город самодельные саночки с холщовой торбой, начинённой коробкой старых акварельных красок, карандашами, вставочкой, бронзового цвета перьями номер восемьдесят шесть и... и несколькими сухариками, сэкономленными на чёрный (!) день. Мать, словно кто-то водил её рукой, впервые робко и неумело перекрестила уходящего сына. Но он этого не видел. В тот день радио сообщило, что дневная норма хлеба увеличена до трёхсот граммов.

Пунктом назначения стал Самарканд. Ощущение войны в этом далёком азиатском городе было иным: голод и холод, казалось бы, отступившие навсегда, беспричинно охватывали ленинградцев; ещё слышались чёткие щелчки блокадного метронома (город жив!) и грозное «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!», словно сюда через трудно постижимое расстояние сами собой перенеслись и длинные уличные репродукторы, дотягивавшиеся своими чёрными раструбами до каждого дома, до каждой улицы,

до каждого прохожего, и чёрные же домашние тарелки, шершавым звуком прилежавшие к ушам.

Главной достопримечательностью города казались не мечеть, не мавзолей Тамерлана — основателя Самарканда, а патрули, круглосуточно сверкавшие примкнутыми к трёхлинейкам штыками. Без паспорта соваться на улицу было нечего: патрули проверяли документы у всех подряд, охотились за всяким, маломальски отвечающим мобилизационным признакам, устраивали облавы в людных местах — на базаре, возле кинотеатра... При облавах всё мужское население, независимо от лет, написанных на лице, приводилось на просторную, обнесённую глинобитной стеной площадь. Летом, в самую жару, на этой площади оказался и эвакуированный Давыдов. Отсюда его под конвоем как потенциального уклониста доставили в горвоенкомат.

### Говорит художник Давыдов

Среди разноликой шумной толпы, разделённой на группы, выделялись бородатые дехкане. Они крепко держали под уздцы своих верных спутников ишаков. Дежурный выкрикивал фамилию очередного «счастливчика» и провожал его по назначению. Наконец, предстал и я пред ясны очи горвоенкома. Тот прошёлся взглядом по мне от макушки до ботинок и спросил:

— Вам сколько лет?

Странно мне было слышать такое вежливое обращение.

— В паспорте написано, — говорю.

— В паспорте-то написано. Но вы от горшка два вершка. Мы таких не можем в армию брать.

— Что же мне тогда делать? — спрашиваю.

— Иди погуляй, — военком перешёл на ты: может быть, напомнил я ему кого-то далёкого — в те годы потерь было не счесть. — Вот тебе вместо паспорта бумажка.

Осмотрел я непривычный документ. Фамилия, имя и отчество — всё как положено и приписано: «До вызова». Стало быть, — смекнул я, — меня по необходимости оповестят. Не прошло и двух недель, как по окончании сеанса популярного в то время фильма «Чапаев» несколько солдат вновь бдительно сортировали выходящих из кинотеатра зрителей. «Документы!» Протянул я свою бумажку и вскоре вновь очутился перед горвоенкомом.

— Ты что ж так рано пришёл? — обратился он ко мне с улыбкой.

— Я не пришёл, — отвечаю, — меня привели.

— Отчего ж ты не подрос-то?

— Как можно подрасти, — говорю, — за десять дней...

— Ну, хорошо.

Это «ну, хорошо» означало направление в Ташкентское пулемётное училище, где меня также не захотели брать за недостатком телосложения. Но оказавшийся ленинградцем начальник училища посочувствовал мне. Набралось таких, шкетов вроде меня, целый взвод, спустя непродолжительное время прозванный взводом «надульников»: есть у пулемёта маленькая, навинчиваемая на дуло деталь — надульником называется.

Навесили на нас те же, что и всем остальным курсантам, противогазы, те же трёхлинейки Мосина образца 1891 года, которые возвышались над нами, а если ещё и штык примкнут... представляешь воина?.. с полной-то выкладкой?.. А когда на меня надручивали пулемётный станок, весивший около тридцати пяти килограммов при моей собственной массе чуть поболее пятидесяти... так вот, когда на меня наваливали станок, мои узкие блокадные плечи проскакивали в полудужье жёсткого хобота, и вынужден был я перемещать этот груз с одного плеча на другое. Это был очень тяжёлый труд. Думаю, Иисусу Христу тащить свой крест на Голгофу было легче, чем мальчику, выглядевшему лет на тринадцать, нести эту штуку на жарнице (всё-таки Средняя Азия!), причём никаких подкладок не разрешалось: кровь на ключицах, спину ломит, каждая мышца натужно дрожит, не успокоится, словно задетая грубой рукой струна...

Со стрельбища возвращались с песней, хотя на изнурительной жаре да под грузом петь не хотелось. Однако «Раз-два-три... За-пе-е-е-вай!», — командовал командир взвода. И появлялись новые силы. Всякие были песни. Самые любимые — «Махорочка» и «Тачанка»... она же пулемётная: «все четыре колеса». Была ещё песня, сложенная самими курсантами из слов, обозначавших части пулемёта: «Кожух, короб, рама, / приёмник с мотылём, / возвратная пружина, / кроши врага огнём!».

За время обучения подрос, окреп, сошла с лица тень блокады. Наконец, мы сдали экзамены, и вручили мне погоны с одной малюсенькой звёздочкой. Красивые золотистые погоны, за полгода до того введённые в Красной Армии взамен треугольникам, кубарям, шпалам на петлицах. Мне присвоено звание младшего лейтенанта! Тогда говорили: курица — не птица, младший лейтенант — не офицер... Это было... было недавно — 59 лет назад.

*Продолжение следует.*